

Александр Евсюков

## В диалоге со временем

Дмитрий Мизгулин. Избранные сочинения. Публицистика, литературные заметки, рассказы, очерки 1987–2021 гг.

О поэзии Дмитрия Мизгулина сказано немало. За четыре десятилетия осознанного творчества поэт прошёл серьёзный путь, обрёл собственный узнаваемый голос, заслужил внимание коллег и ценителей. Его знают, обсуждают и периодически цитируют. Мне же хочется проанализировать другие направления его литературного дарования, достаточно полно представленные в двух финальных томах юбилейного четырёхтомника.

Произведения для удобства расставлены по жанровым полкам, а на каждой из них расположены в не очень строгом, но близком к хронологическому порядку. Здесь и рассказы, и литературные эссе, и очерки о паломническом посещении Афона, и краткие афористичные заметки о быте и бытии, объединённые автором в цикл «Ночник».

Судя по датировкам, первыми опытами в прозе для Мизгулина стали рассказы, написанные в конце восьмидесятых, вскоре после прохождения срочной службы. Собственно, они и составили его сборник «Три встречи», опубликованный в 1993 году. Что ж, необходимость поделиться новым личностным опытом армейской инициации нередко подталкивает вчерашних юношей на писательскую стезю. На первый взгляд, почти все собранные здесь истории посвящены двум магистральным темам: армия и охота. Довольно очевиден и излюбленный авторский приём: рассказ в рассказе, исповедь попутчику, случайному знакомому. Сюжеты вроде бы тоже не поражают оригинальностью: мужа подло бросила любимая жена, заранее отписав себе всё имущество («Серёга»); неумелый охотник, спугнув уток, в отместку убивает красавца-журавля («Серебряный журавль»); злопамятный комдив выживает со службы капитана-правдоруба («Характер»); а шеф-повар ресторана вспоминает, как помимо собственной воли напоил проверяющего особенным напитком («Генеральский чай»). Видимо, автору сложно выдумывать коллизии, и потому легко поверить, что в основе каждой из этих историй — реальное жизненное происшествие. Порой здесь уместно вспомнить армейские байки (рассказ «Усы»), но куда ощути-нее задумчивая грусть и сострадание. «Вот вчера был он, Серёга Колесников, военнослужащий,

уважаемый человек, были у него дом, жена, сын, а нынче не осталось ни дома, ни жены, ни сына и даже, казалось, фамилия стала звучать иначе».

Однако стоит ли читать такие истории сегодня? Помедлив, отвечаю утвердительно. Уже в этих небольших рассказах молодого автора пробивается собственная интонация, личностная боль, без которой не стать писателем. В моменты прозрения частные как будто случайные детали естественным образом обретают взаимосвязь со всем мирозданием: «В памяти поочерёдно всплывали капитан, Красноводск, ветхая церквушка, лицо женщины и её глаза, и между всем этим существовала неслучайная тревожная связь...» У этих прозрений привкус горечи, но именно они будят душу и не дают прозевать жизнь: «...оказывается — всё не так. Оказывается, наше ожидание — это уже жизнь, и больше и лучше, может быть, уже ничего и не будет...» Но ведь так хочется, чтобы было — и больше, и лучше, а для этого нужны осознанные действия здесь и сейчас.

Эссе — раздумья о классической русской мысли и литературе — здесь они неразрывны — написаны в промежутке 1989–92 годов. Главные герои: Тютчев, Лесков, Замятин, Гофман, Пушкин, Хомяков, Горький, Бердяев... Позже к ним добавятся предисловия, послесловия или же развёрнутые некрологи. Но именно в этот переломный период, наряду с усилением мысли и стремлением найти опору в классической литературе, остро чувствуется наибольший трагизм происходящего. «Русь рухнула, распавшись изнутри. То, что мы видим ныне, — это заключительные этапы её вселенского распада, распада нации и государственности, спасение которых могло бы произойти только на путях возврата к традициям и духовным истокам», — это написано в 1990 году в эссе о Ф. И. Тютчеве.

Распад, безусловно, произошёл — как на уровне государства, так и семейно, и даже на уровне каждой личности. Однако, к счастью, он не стал заключительным и окончательным. Россия продолжила бороться за себя силами не великих, но честных, совестливых и талантливых в своём деле людей: «Так, в смутные времена благодаря таким людям шли поезда, плыли пароходы, работали

заводы и электростанции, больницы и школы. <...> Вот такие митины и удержали Россию от хаоса»<sup>1</sup>.

А русская культура, освободившись от цензурных ограничений, тут же столкнулась с другой опасностью. «Чужая стихия, „западническое“ просвещение, захлестнула-таки всю нашу словесность, превратив её, как и предполагал Достоевский, в прессу. Эпоха прессы сделала своё дело: вместо литературы — репортаж, вместо критики — полемика». Бывшая культура с охотой стрекозы из басни Крылова оторвалась от осмысления народной жизни и предпочла бесконечную говорильню и самопиар, что, по мнению Мизгулина, является как раз западнической традицией. «Отметим, что славянофилы были специалистами различных отраслей знаний, причём — профессиональными. Западники же дали только обильную публицистику». Увы, практического выхода из этого культурного тупика не видно до сих пор.

Мизгулин этого периода весьма категорично подчёркивает своё непризнание советской литературы. «В советской литературе нет тайны слова», — пишет он. Его раздражает «трибун» Маяковский, как самого Маяковского раздражал Лермонтов. Он не скрывает и неприязни к «пролетарскому писателю» Горькому: «Образцом силы духа и свободы стали челкаши, поставленные в один ряд с принцем датским». Можно подумать, что они оба — искусственные, сильно распропагандированные государством величины. Но, как показал уже постсоветский период, и Маяковский, и Горький пережили восхваляемый ими строй и даже обрели новую актуальность.

Позже на примере писателя Алексиса Парниса в статье «Одиссея русского грека» Мизгулин, не скрывая, восхищается характером и стойкостью этого воина и поэта, под огромным давлением не отрёкшегося от своего друга и учителя-коммуниста Никоса Захариадиса. «Но важнее для него был ответ партийному суду: мы своих капитанов не предаём».

В 1991 году Мизгулин стремился полемически осмыслить «парадоксы Бердяева», вполне справедливо ставя под сомнение ряд его философских выводов, а некоторые и прямо опровергая, как, например, суждение об итоговой победе «славянофилов» над «западниками». Спустя тридцать лет в эссе «Последний русский философ», фактически ставшем некрологом Александру Казинцеву, автор, скорбя о большой потере, раскрывает и своё видение значения его философии: «Такого единого понимания событийности русского мира ни у кого ныне нет, да и, похоже, уже никогда не будет». Это самое значение — в способности видеть и прозревать всё рядом в истинном свете: малейшее и величайшее, от пути снежинки до причин и последствий кровавой революции. Видеть, говорить и не бояться действовать.

Как не боялись действовать в конце девятнадцатого века основатели Самаровского судно-сберегательного товарищества — небольшого, но успешного банка в сибирской глубинке. Минувя все промежуточные инстанции, они обратились сразу к министру финансов Российской империи и зарегистрировали своё предприятие всего за одиннадцать дней! Этим самоорганизованным и предпринимчивым русским людям посвящено эссе «Сибирские банковские традиции». Действительно, «тянет на историческое открытие».

Однако не может быть прочного успеха в делах, если забыть о Боге. «Спрашивают иногда: как вы пришли к Богу? А мне удивительно наоборот. Как можно пройти мимо?» И Он незримо присутствует в помыслах и действиях героев и, конечно, самого автора. Каждое упоминание церкви несёт особенную теплоту и сакральный смысл. Особый раздел — цикл очерков «Под покровом игуменны горы Афонской», написанный в 1998 году, — посвящён совместному с отцом Виктором Грозовским (священником и поэтом) паломничеству на Афон, в удел самой Богородицы. Почти сразу начинаются неожиданные сложности. «Удивительно, но русскому священнику проникнуть на Святую землю нелегко». Без письменного разрешения администрации Константинопольского патриарха «приходится выбирать два иных пути: либо при собеседовании с чиновником из администрации изображать из себя светского человека, либо надеяться, что при проходе через таможеню... не очень бдительные стражи порядка примут русского батюшку за греческого монаха» К счастью, вскоре все трудности благополучно разрешаются.

Погружение в жизнь монашеского государства оказалось незабываемым. Здесь и своё исчисление времени: «Кстати, время на Афоне определяется совсем иначе, чем в Европе, и называется „византийским“. Отсчёт идёт с заката солнца — в это время стрелку устанавливают на полночь — и так каждый день». И свой образ захоронения: «На Афоне хоронят без гроба. <...> Через три года могилу раскапывают, и если тело ещё не истлело, то, значит, усопший вёл неправедную жизнь». Возникает и уже не покидает ощущение, что связь земного с небесным здесь ближе и прочнее, чем где бы то ни было.

Отдельный жанр, оказавшийся близким автору уже в новом веке и вобравший в себя все волнующие его темы в максимально лаконичной форме — от единственной афористичной фразы до зарисовки в несколько страниц, удачно назван «Ночником». «Подумал сначала: осколки. <...> Подумал: а может, проще — дневник? Хотя какой это дневник? Дневниковые записи требуют .....

1. Лётчик Митин — герой романа Петра Кириченко «Из тумана забвения».

системности — как повесть или роман. Системности не только временной, но и логической. А в этих заметках системности нет. Правда, одно их объединяет — время написания. После трудового дня — поздним вечером. А то и ночью. Поэтому у многих писателей — дневник. А у меня ночник».

Итак, малые непоэтические жанры в творчестве Мизгулина как бы сменяли друг друга во времени, заступали на творческую вахту: вначале рассказы, затем литературные эссе, очерки и, наконец, «Ночник». Самая краткая и свободная форма, не требующая вымысла, в итоге оказалась и самой продуктивной — записки собраны под обложкой внушительного тома. Отмечу, что дневники, как системные записи, само написание которых в итоге поглощает целые годы жизни (пожалуй, самый монументальный и выразительный пример в русской литературе — Лев Толстой), или записные книжки, как мысли-вспышки, наблюдения-всполохи (и тут уже на сцену выступает Чехов), — это ещё и разные типы мышления, восприятия и последующего преобразования действительности. Для таланта, родственного чеховскому, краткость формы — действительно родная сестра, а для сходного с толстовским — дальняя родственница. В этом плане Мизгулин ближе к Чехову, причём он успевает собрать и свести воедино свои «несистемные» записи.

Автор вспоминает путешествия, далёкие и близкие: Австралия, Чехия, Греция, Латвия, Индия, ЮАР... И каждое из них — очередной шаг к познанию мира и себя в нём. Мизгулин напряжённо размышляет о месте современной литературы в жизни литераторов, читателей и не-читателей. Книгу стало совсем несложно опубликовать, но она больше не культурное событие, а всё чаще — балласт в кладовой. И в этом немалая доля вины самих современных писателей, многие из которых «как доктор, который исследует свои болезни, лечит сам себя, а на других пациентов не обращает внимания». Для авторов и их издателей «интерес стало представлять событие, а не движение человеческих душ».

Временами иронически одёргивая самого себя, автор «Ночника» не может не обращаться к политическим вопросам и глубже — к судьбе самой страны, частью которой он себя ощущает: «...мы — главное разочарование XX века. Одни нас боялись, другие на нас надеялись. СССР был надеждой на что-то новое, на прорыв, на освобождение». Напротив, «сегодня именно мы и переписываем историю Великой Отечественной — пытаемся представить великую Победу без идеологии (коммунисты — вперёд) и без лидера (Сталин — сатрап). Убираем. А что остаётся?» Остаётся — «строй феодальный, кастовый. Есть пирамида: наверху власть, потом вассалы, обслуживающий персонал, аппарат подавления. Внизу народ». Причём охотнее

всего этот строй поддерживается теми людьми, кого модно называть турбоолястами: «Как-то незаметно патриотом стал считаться тот, кому всё нравится в нашей России, начиная от дорог, кончая руководством (причём всем — от мала до велика...). Если, не дай Бог, тебе что-то не понравилось (включая дождливое лето или результаты сборной по футболу) — ты автоматически становишься агентом американцев и врагом Отечества!»

К сожалению, редактура книги при очень достойном оформлении небезупречна. Вот ряд показательных примеров, доработка которых могла бы улучшить её в новом издании. «Но ни легенды, ни жизнь не знали случая, чтобы сына (из высших духовных побуждений) убила бы мать», — утверждает в одной из заметок Мизгулин. Однако такой сюжет известен. Нелюбимый автором Горький в числе прочих «Сказок об Италии» написал и новеллу «Мать изменника», где именно мать во имя спасения родного города убивает собственного сына. Или же «легендарный капитан Кук», который якобы высадился на побережье Австралии в 1728 году, хотя на самом деле он родился в ноябре 1728 года и уж точно не с первого дня жизни стал флотским капитаном. Писатель Кутзее из южноафриканского вдруг переименован в южноамериканского. Якобы разбомблённый Иран вместо реально пострадавшего Ирака. Ну а захватом и разграблением Константинополя завершился Четвёртый, а не Первый крестовый поход.

Однако и при наличии частных неточностей, при повторях в круговороте мыслей, порой явно осознанных, а порой не сокращённых уставшей редакторской рукой, возникает ощущение цельной творческой личности, честной и взыскательной к себе, знающей цену ошибок и не боящейся их, страдающей и находящей утешение в вере и в творчестве. Мизгулин в своих заметках, как и в других произведениях, явно стремится «мысль разрешить» и может возвратиться к ней не единожды спустя месяцы и годы. В целом именно россыпь заметок из «Ночника», при всей их «осколочности» и мозаичности, представляется мне второй по значимости творческой ипостасью автора. Это своего рода летопись движений души.

Сам Дмитрий Мизгулин — из породы людей дела. Общественный деятель, бизнесмен, меценат. Человек, которому небезразлично не только своё, но и общее благо. Это всё реже сочетается с полнокровным, а не декоративно-формальным литературным творчеством. Многим не хватает веры в художественное слово, в его значение и отдачу. Многие сбиваются с писательского пути, посчитав его ложным или бесперспективным. Длинную же дистанцию выдерживают люди со стержнем.

И ещё одно наблюдение из «Ночника». Казалось бы, простейшее дело — поменять лампочку на площадке — вдруг становится для соседей

непосильным. Им привычнее спотыкаться в темноте и ругать власти. «Так вот и сидим во мраке, не решая многих проблем, ждём, что кто-то сделает». Простое до банальности, но так сложно выполнимое правило: важно не ждать, а делать.

«Эпоха закончилась.

А жизнь продолжается».

И каждый из нас продолжается в ней, слыша отзвуки времени и отвечая ему в ежечасном выборе между спасением и гибелью.